

Читайте в серии
«Румперия. Дыхание магии»:

Владимир Лазовик
«Полярное нигде»

Ольга Коробкова
«Идите лесом... инквизитор!»

Лия Джей
«Лучи другого солнца»

Ольга Раудина
«Шепот русалки»

Продолжение следует...

ВЛАДИМИР ЛАЗОВИК

ТЕМНАЯ НЕВЕСТА

Москва

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л17

Иллюстрация на обложке GATATSU
Художественное оформление *Анастасии Грищенко*

Лазовик, Владимир.
Л17 Темная невеста / Владимир Лазовик. — Москва : Эксмо, 2026. — 320 с. — (Румперия. Дыхание магии).

ISBN 978-5-04-235702-2

Город Жвялый процветает вопреки всякой логике: его урожаи обильны, а болезни обходят жителей стороной. Но за это благополучие горожане платят страшную цену — раз в поколение отдают одну из местных девушек в невесты древнему чудовищу. Теперь выбор пал на ту, которой нечего терять. Агата — воровка, приговоренная к пожизненному заключению. Однако вместо тюрьмы ее ждет поместье лесного монстра Лихо, где стены дышат, коридоры меняются, а тени следят за каждым шагом. Чтобы выжить, ей придется узнать правду о хозяине леса и договоре, который связывает его с городом. А главное, ответить на вопрос: кто здесь настоящее чудовище?

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-235702-2

© Владимир Лазовик, 2026
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026



Глава 1
Клетка

Воздух в камере можно было жевать. Густой, как болотная вода, он оседал на языке привкусом влажного камня, мха, застарелой ржавчины и человеческого отчаяния. Агата давно перестала его замечать, как перестают замечать собственное дыхание. Он просто был — тяжелый саван, окутывающий ее с головы до ног. Солнечный свет сюда не проникал никогда. Он был чем-то из другой жизни, сродни сказке о теплых морях или жареных гусях, — верить в него было глупо и бесполезно. Единственным источником знаний о мире снаружи был тонкий сквозняк, который иногда просачивался сквозь щель под дверью, принося с собой запахи мокрой листвы, конского навоза или дыма из печных труб.

Ее мир был треугольником, очерченным длиной цепи. Один угол — грубо сколоченная полка, вбитая прямо в стену, ее постель. Второй — квадратное отверстие в нижней части двери, куда дважды в день с грохотом ставили миску с безвкусной кашицей. Третий — выгребная яма в дальнем углу, зловонная пасть, источающая холод и миазмы. Цепь, прикованная к железному кольцу у изголовья полки, заканчивалась ледяным обручем на ее шее. Она знала наощупь каждый его изгиб, каждую зазубрину на металле, каждую царапину, оставленную, быть может, кем-то до нее. Поначалу он жег кожу и казался невыносимо тяжелым. Теперь же стал почти неотличим от ее собственного тела, словно дополнительный позвонок, вросший в основание черепа.

Длины цепи хватало ровно на то, чтобы дотянуться до еды и дойти до ямы. Ни шагу больше. Это было выверенное, продуманное унижение. Иногда, по ночам, когда тишина становилась особенно плотной, Агата слышала, как по ту сторону стены скребутся крысы — единственные существа в этом каменном мешке, кто был свободнее нее.

Это был ее десятый раз. Она вела счет не по дням, а по арестам. Первый раз, когда ей было двенадцать, стал ошибкой — неуклюжей, глупой попыткой стащить буханку хлеба с лотка зеленщика. Ее поймали, высекли и отпустили с клеймом воровки. Третий раз был уже дурной

привычкой, отточенным движением пальцев, снимающих кошель с пояса зазевавшегося купца. Тогда ее бросили в эту самую камеру на неделю, и холод камня впервые впитался в ее кости. Пятый раз стал закономерностью. Город уже знал ее, стражники лениво кривили губы при виде ее грязного лица. Она стала частью городского пейзажа, как бродячие собаки или кривые заборы.

На восьмой раз ей дали срок — полгода. Она вышла весной, щурясь от непривычно яркого солнца, и поняла, что мир за стенами тюрьмы стал для нее чужим. Люди шарахались от нее, матери прятали детей. Она была сиротой, не умеющей ни шить, ни стирать, ни гнуть спину в поле. Улица научила ее только одному — брать то, что плохо лежит, чтобы выжить. Десятый раз стал приговором. Пожизненное. Она надоела. Маленькая, назойливая проблема, от которой город решил избавиться раз и навсегда. Судья, сытый мужчина с тройным подбородком, даже не смотрел на нее, когда зачитывал вердикт. Для него она была не человеком, а строчкой в отчете. Бесповоротная преступница. Шансов нет.

Агата сидела на краю полки, обхватив колени руками. Холодный металл ошейника касался подбородка. Она не плакала. Слезы замерзли где-то внутри еще после восьмого срока. Вместо этого она слушала. Слушала, как с потолка, отсчитывая секунды ее бесконечного заключения, падает капля.

Кап.

Пауза, в которой умещалась целая вечность.

Кап.

Она знала, что капля падает на одно и то же место, выдолбив в каменном полу крошечную, почти невидимую в темноте ямку. Это было единственное изменение, происходившее в ее мире. И Агата, неподвижная, прикованная к стене, чувствовала с этой медленной, упрямой водой странное, извращенное родство. Она тоже точила свой камень. Камень отчаяния. И ждала, что сломается первым.

Звук приближался — шаркающий, тяжелый, предвестник единственного события, которое еще имело значение. Он полз по каменному коридору, отражаясь от стен, и Агата чувствовала его скорее всем телом, чем ушами. Вибрация проникала сквозь пол, поднималась по ее ногам, заставляя сердце отбить два-три глухих нетерпеливых удара. Она не шевелилась, застыв в позе терпеливого хищника, вслушиваясь в ритм чужой жизни.

Темный прямоугольник в двери отодвинулся с визгом ржавчины, который въелся в ее слух, как кислота. В камеру ворвался новый воздух — с запахом горячего металла, варева и пота. Затем в проем скользнула рука, грубая, с потрескавшейся кожей и грязью под ногтями, держащая глиняную миску. Миска ударилась о каменный пол с глухим стуком, расплескав немного серой жижи, и рука исчезла. Но вместо того, чтобы

сразу уйти, тень заслонила проем. Два глаза, едва различимые в полумраке, уставились на Агату.

«Тс-с-с...» — прошипел голос, принадлежавший руке, скрипучий, как несмазанная телега. Пауза. Агата чувствовала, как взгляд ощупывает ее лицо, волосы, фигуру, словно оценщик на невольничьем рынке. «А ведь даже красивая девчонка. Что ж ты в поле не пошла, дура молодая».

Слова были просто звуками, оберткой для того единственного, что имело значение. Они не задевали, не оскорбляли, не вызывали ничего, кроме смутного раздражения за задержку. Она ждала. Ждала, когда тень уберется и оставит ее наедине с миской. Наконец послышался удаляющийся шорох юбки, и прямоугольник света снова погрузился во тьму.

Только тогда Агата двинулась. Медленно, чтобы не издать лишнего звона, она сползла с полки. Цепь прочертила по полу ленивую дугу, звякнув лишь однажды. Она подползла к миске. Тепло, исходящее от нее, было почти осязаемым чудом в этом царстве вечного холода. Она прижалась щекой к шершавой глине, впитывая его, позволяя ему растечься по коже. Ей было восемнадцать. Пожизненный срок только начался, но она уже чувствовала себя так, словно родилась на этой каменной полке, с этим железным обручем на шее. Мир снаружи, с его ветром, солнцем и лицами, стерся, превратился в бессвязный сон. Существовала только камера, капля с потолка

и этот дважды в день случающийся ритуал. Существовала еда.

Она зачерпнула теплую кашицу пальцами. Обоняние, обострившееся в темноте, уловило всю палитру запахов: пресный дух разваренного зерна, едва уловимый аромат дыма и под ним — густой, землистый запах лука. На языке она была почти никакой — пресная вязкость зерна, сваренного на воде. Но потом зуб натыкался на упругое, скользкое тело, спрятанное в серой массе. Огромный, почти не разрезанный пласт луковицы. И когда она раскусывала его, рот наполняла обманчивая, призрачная сладость, которая не имела ничего общего с сахаром. Это была сладость не меда, а гниющей земли, сладость выживания, концентрированная сила, вытянутая из грязи. Она медленно, тщательно пережевывала каждый кусок, закрыв глаза, отдаваясь этому ощущению полностью. Ее тело, ее кровь, ее кости требовали этого. Не для удовольствия. Для жизни.

Когда миска была вылизана до последнего зернышка, Агата отодвинула ее в сторону. Она села, прислонившись спиной к холодной стене, и прислушалась к тому, как тепло медленно расходится по ее венам. Это было единственное чувство, которое еще напоминало ей, что она жива. И в ее голове была только одна мысль, чистая и ясная, как капля воды с потолка: ожидание следующей порции. Следующего прилива

тепла. Следующего доказательства, что она все еще существует.

Тепло от каши в животе было недолгим гостем. Оно вспыхнуло, разлилось по телу ленивой волной, а затем начало таять, уступая место привычному, глубинному холоду, что жил в самом ее костном мозге. И в этой тихой сытой пустоте, когда телу больше ничего не было нужно, на поверхность всплывали они. Родители.

Это слово в ее голове не имело четкого образа, как, например, «хлеб» или «камень». Память о них была не историей, а набором ощущений, выцветшим гобеленом, где остались лишь самые яркие нити. Она не помнила их лиц целиком, только фрагменты, как осколки разбитого зеркала, в каждом из которых отражалось что-то одно, невыносимо четкое.

Отец — это был запах. Запах холодной речной тины и рыбьей чешуи, въевшийся в кожу его ладоней так глубоко, что не отмывался никогда. Агата помнила, как он брал ее руку в свою, и этот запах окутывал ее пальцы, оставаясь с ней на несколько часов. Его руки были картой из мозолей и шрамов, грубые, но его прикосновение к ее щеке было невесомым, как будто он боялся поцарапать ее своей кожей. Еще она помнила звук — ровный, медитативный голос точильного камня, о который он правил свой длинный нож. Шшш-рррк, шшш-рррк... Этот звук был колыбельной ее раннего детства, обещанием порядка

и неизменности. Он точил нож, значит, завтра будет рыба. Значит, завтра будет еда.

Мать — это было касание. Тонкие, почти прозрачные пальцы, всегда пахнущие чем-то горьким и терпким, как растертый лист полыни. Она помнила, как эти пальцы перебирали ее волосы, заплетая тугую косу, и легкая боль от натяжения у корней была единственным доказательством, что это не сон. В волосах матери, темных, как вороново крыло, была одна-единственная белая прядь, ровная и яркая, будто лунная нить, вплетенная в ночное небо. Агата любила трогать ее, когда сидела у матери на коленях. Прядь была другой наощупь, более жесткой и прохладной. Иногда мать тихонько напевала что-то, но это была не песня, а просто мелодия без слов, тягучая и печальная, похожая на скрип старого дерева на ветру.

Они существовали в ее памяти как единое целое — запах тины и горечь полыни, звук точильного камня и тихая мелодия без слов. А потом — ничего.

Разрыв. Словно кто-то вырвал страницу из книги ее жизни. Нет ни криков, ни прощаний, ни болезни, ни страха. Просто одно воспоминание, где тепло материнской руки на ее затылке сменяется следующим.

Она стоит на грязной улочке Жвялого. В руках у нее — половина сухой, окаменевшей булки. Она не помнит, где взяла ее. Рядом, при-

падая к земле, рычит тощая собака с прижатыми ушами и свалявшейся шерстью. Ее желтые глаза не отрываются от хлеба. Агата тоже рычит в ответ, прижимая булку к груди, чувствуя, как острые крошки впиваются в кожу. Вокруг них течет жизнь: проходят грузные женщины с корзинами, скрипят телеги, кто-то смеется. Но их маленькая война за выживание невидима для этого мира. Собака делает выпад, и ее зубы клацают в миллиметре от детских пальцев. Агата отшатывается, спотыкается и падает в грязь. Собака выхватывает булку и отскакивает в сторону, жадно вгрызаясь в твердую корку.

Агата лежит в луже, и по ее лицу текут не слезы, а грязная вода. Она смотрит на проходящие мимо ноги в стоптанных сапогах и грубых башмаках. Никто не смотрит вниз. Никто не протягивает руку. В тот момент, в свои пять лет, она поняла самую главную правду о мире, которую не смогла бы объяснить словами. Правду о том, что ты один. Всегда. Ее родители не просто исчезли. Вместе с ними исчезла сама идея о том, что кто-то может помочь. Их не стало, и мир показал свое истинное лицо — равнодушное, вечно спешащее мимо чужой беды.

Были ли у них братья, сестры, хоть какая-то родня? Она не знала. В ее памяти не было других лиц, кроме их двоих. Словно они были единственными людьми на всем свете. А потом единственным человеком на всем свете осталась она.

Десять арестов были лишь верхушкой айсберга, видимыми провалами в ремесле, которое она оттачивала тысячами незамеченных успехов. Попадалась она, когда была слишком голодна, слишком неосторожна или когда мир просто решал напомнить ей о ее месте. Но между этими провалами лежали целые эпохи безупречной, невидимой работы. Кража была ее дыханием, ее языком, единственным искусством, которым она владела в совершенстве.

Самым дерзким ее триумфом стала кража супа. Это случилось промозглой осенью, когда воздух пропитался запахом гниющих листьев, и холодный туман цеплялся за одежду, проникая до самых костей. Голод в такие дни был особенно острым, злым, грызущим изнутри. Агата знала, что Старейшины Жвялого собрались на ужин в доме главы городского совета — толстого, как боров, мужчины, чей дом стоял особняком, окруженный высоким забором. И знала она это по запаху.

Он плыл над крышами, дразнящий и густой — аромат жареной птицы, печеных яблок и, главное, наваристого, дымящегося супа. Этот запах был обещанием, маяком в сером море ее существования. И она пошла на него.

Она не ломилась через парадный вход. Она стала частью сумерек, тенью, скользящей вдоль забора, изучая свет в окнах, слушая обрывки громкого, сытого смеха. Она была терпелива. Она ждала, пока суета на кухне, видимая через

запотевшее окно, не достигнет своего пика. Когда поварихи, раскрасневшиеся и уставшие, вынося одно блюдо за другим в столовую, оставят свое царство без присмотра на драгоценные мгновения.

Ее целью была задняя дверь, ведущая на кухню. Она была сделана из грубых, толстых досок с простым железным засовом. Замок был ее холстом, а тонкая заточенная проволока — ее кистью. Агата прижалась ухом к холодному дереву, слушая не звуки внутри дома, а внутреннюю жизнь замка. Ее пальцы, тонкие и чуткие, работали с проволокой, ощущая малейшие сдвиги, щелчки, сопротивление пружин. Это был интимный, тихий диалог с металлом. Она не взламывала его; она уговаривала его открыться. И через минуту, которая показалась ей вечностью, раздался тихий, маслянистый щелк. Засов поддался.

Она приоткрыла дверь на толщину волоса. В нос ударил жаркий влажный воздух, плотный от запахов еды. Кухня была пуста, но полна следов недавней битвы: на столе лежали горы грязной посуды, на полу была рассыпана мука, в воздухе висел пар. А на краю остывающей плиты стоял он. Чугунный котелок, черный и тяжелый. От него все еще поднимался легкий парок, и сквозь щель под крышкой просачивался тот самый божественный аромат — тимьян, жирная птица, глубинная сладость долго варенных кореньев.